

## Свободный стиль

Бабка моя служила стенографисткой,  
носила жакет с плечами.

В ней был стиль. Ее обошли партийные чистки  
и некоторые другие печали.

Сама она была из калужских рабочих  
с их отличной фамилией Львовы.

А дед происхождением был не очень,  
незаконный сын провизора из Могилева  
и дурочки какой-то, прислуги. Та уж мылила ремешок.  
Ребеночка хозяева-немцы взяли в семью,  
покрыли, как говорится, грешок.

И стал он немцем, вместе со всеми.

Назвали Петер. Петр Иванович,  
приемный батюшка был Иоганном.

Для родной мамыши, выходит, паныч.

Барчук, выходит. Приймак немчуры поганой.

Когда живые мертвых простили  
и прошлое заперли, как столовое серебро,  
дед увидел бабку с ее знаменитым стилем,  
в круглой шляпке, сдвинутой на левую бровь.

И вот, презирая интриги завистниц и гадин,  
с мужем, которого называла почему-то Володя,  
Верочка Львова, из рабочих, уехала в Копенгаген,  
где торгпредские жены шептались о стиле и о породе.  
Бобочка, мой папа, родился с немецким в печенках.

Прекрасные старики еще были живы.  
И та курва вдруг вспомнила про байстрючонка  
и стукнула, что сын ей алименты зажиллил.  
В Караганде прочно осела кузина.  
Сестра-красавица целовала лагерный почерк.  
Вот и Пете пригодилась допровская корзина.  
Верочка не роптала, хотя и была из рабочих.  
Пушкинские Горы — это под Псковом.  
Никакие не горы — холмы и дачи.  
Там Бобочке в голень попал осколок,  
и война закончилась для него удачно.  
Женщины нашей семьи дождались мужчин  
из госпиталей и тюрем. И молчали, когда болит.  
И это было одной из причин  
моего явления — а вовсе не в результате молитв.  
Женщины нашей семьи, даже рожденные под Калугой,  
были образцом стиля, что важнее породы, а часто и воспитания.  
Меня учили, что хороший стиль — не спорить с прислугой  
и молча переносить испытания.

## **Возвращение в И.**

Зачем я бежала из этого города, слепая от слез,  
куда глаза, сломя голову, загнав трех ослов,  
в провинции, далёко от моря, дура, свила гнездо,  
ждала, что добро, наконец, поборет одинокое зло,  
но что бык добра на этой арене против убойных бригад?  
Как против Вронского — старик Каренин (не старик, но тоже рогат)...  
Итак, Итака (город). Жгучие мифы слева в прохладной груди,  
словно ангел, выходит из миквы, белее ста афродит,  
в тысячах уличных капилляров тягучий ветхозаветный азарт,  
вечная солнечная соляра кипит и тащит его назад,  
я же, на мелководе иссохнув, вдали от белого с голубым,  
сном изорванная кессонным, пробкой вылетев из глубин,  
бреду, не разбирая дороги, но кажется, что вперед,  
хотя в этом состоянии грогги мой компас, конечно, врет,  
эй, мне — туда, где лев с золоченой холкой обходит рыночные ряды,  
на шее у него — маки, в паху — наколка в виде синей звезды,  
там время — материальное тело, плотное, как столетний «шираз»...  
Простите меня, но я бы хотела попробовать еще раз.

\* \* \*

Чего мы искали, Улисс, для чего мы расстались с Итакой,  
где воздух гудит от кузнечиков в мокрой траве и цикад,  
где белое яблоко, треснув, хрустит и сочится цитатой,  
каких нам еще не хватало, Улисс, драгоценных цитат?

Сто лет я иду за тобой, уж такая мне выпала карма.  
Забыла давно, где мой дом, женихи и тот вечный кусок  
полотна... Между тем, скоро время разбрасывать камни,  
но кругом, как в песочных часах — лишь песок. Лишь песок.  
Лишь песок.

\* \* \*

Я расскажу вам, как умирают собаки.  
Они прячутся там, где не слышно шагов, свиста и речи,  
на пустыре, в лопухах, где помойные баки,  
закрывают глаза и уши, чтоб ничто не мешало готовиться к встрече.  
Собачий бог — вылитый хозяин, но светлее и чище,  
от него не пахнет табаком и водкой,  
исключительно колбасой и другою небесной пищей,  
и весенней землей, и песком, и перевернутой лодкой,  
что сохнет на берегу среди водорослей и потрохов.  
И пес, закрыв глаза, ждет и молится, как умеет,  
прости меня Бог, за то, что нет у меня толковых грехов,  
и мне даже покаяться не в чем, а лапы немеют,  
и пусть мой самый любимый на этой земле двуногий  
не очень страдает, пошли ему, Бог, второго,  
а потом еще многих и многих.  
А я устал. Где твоя лунная, как сало, дорога?  
И он уходит по этой дороге, жемчужной, как окорок.  
А ты находишь его наутро, твердого, будто полешко,  
и закапываешь под кленом или где-нибудь около...  
Может, так оно и полегше.  
Но мой ангел умер у меня на руках,  
и наутро я выпила как воду бутылку виски и еще коньяка  
и почти умерла. Но он прислал замену —  
ушастого, теплого, с глазами без зрачков, как черешни.  
И я все боялась — а вдруг это измена?  
Но мои вдовые друзья женятся, и ничего, и безгрешны.

Нас берегли. Мы знали — смерти нет.  
Слышали — кто-то умер от удара,  
как старый граф Ростов, но он же — старый,  
над Петей плакали, но то ведь — на войне.  
Война же кончилась. Теперь всегда — рассвет,  
весна, оркестры, яблони, пуанты,  
вернулись молодые лейтенанты,  
не плачь, мой чижик, смерти больше нет.  
Летели дни — салютные огни,  
и, в то же время, длинные, как реки...  
Конечно, жили во дворе калеки —  
наш дворник Гриша без одной ноги;  
одуловат, как следует слепцу,  
заковки Толик мастерил в своей артели...  
А дни, счастливые, как бабочки, летели,  
неся бессмертья желтую пыльцу.  
Идея бесконечности близка  
любой козявке на пороге жизни,  
и всяк себе казался семижильным,  
спросонья насосавшись молока.  
Как пробу секса, ты запоминал  
день первых похорон... Игрок, гуляка —  
дед открывал отчет. Братишка плакал,  
и тоже ничего не понимал.  
А я следила, как стучалась мгла,  
прозрачный воздух замутивши кратко,  
как будто дедушкина катаракта  
отдельно от него не умерла.  
С годами смерть мне сделалась родня —  
пошарит в холодильнике, закурит,  
по корешкам пройдет: «Ишь, в натуре,  
гляди-ка, сколько пишут про меня...»  
Она теперь хозяйка, я — жилец,  
хожу по стенке, сплю несмело с краю  
и помню, что от жизни — умирают,  
как написал веселый Ежи Лец.  
Слежу за неприметной струйкой дней  
в окошко баньки, сука, с пауками,  
сiju там и читаю Мураками...  
но точно знаю: Гоголь поглавней.

Просыпаюсь я поздно,  
полдень лупит в солнечное сплетение,  
трудовой Израиль, как ты его называешь,  
уже обедает и начинает сиесту,  
а она длится четыре часа,  
четыре жарких и сонных часа,  
когда молчат даже птицы.  
И пес мой, потеряв надежду  
на активный отдых среди выжженных трав,  
валится на бок, на бочок  
и прикрывает глаза.  
Но при этом зорко следит  
за моими передвижениями,  
за моим плаванием в тенистом аквариуме,  
в спасительной тени наших комнат,  
куда не проникает злое солнце.  
И стоит мне подойти к дверям,  
он кубарем скатывается с кровати  
и бросается мне в ноги,  
ибо мой дрейф к дверям  
может означать замысел прогулки  
и означает его.  
Да, день перевалился за черту,  
которая отделяет его от ночи,  
как переваливается неуклюжий мальчик  
через невысокий парапет  
между набережной и пляжем.  
За чертой — длинные тени,  
они расплываются по солнечным лужайкам  
широкими серыми пятнами,  
как красное вино по белой скатерти  
в черно-белом кино.  
Так к вечеру расплывается по нашему дому  
твое отсутствие.